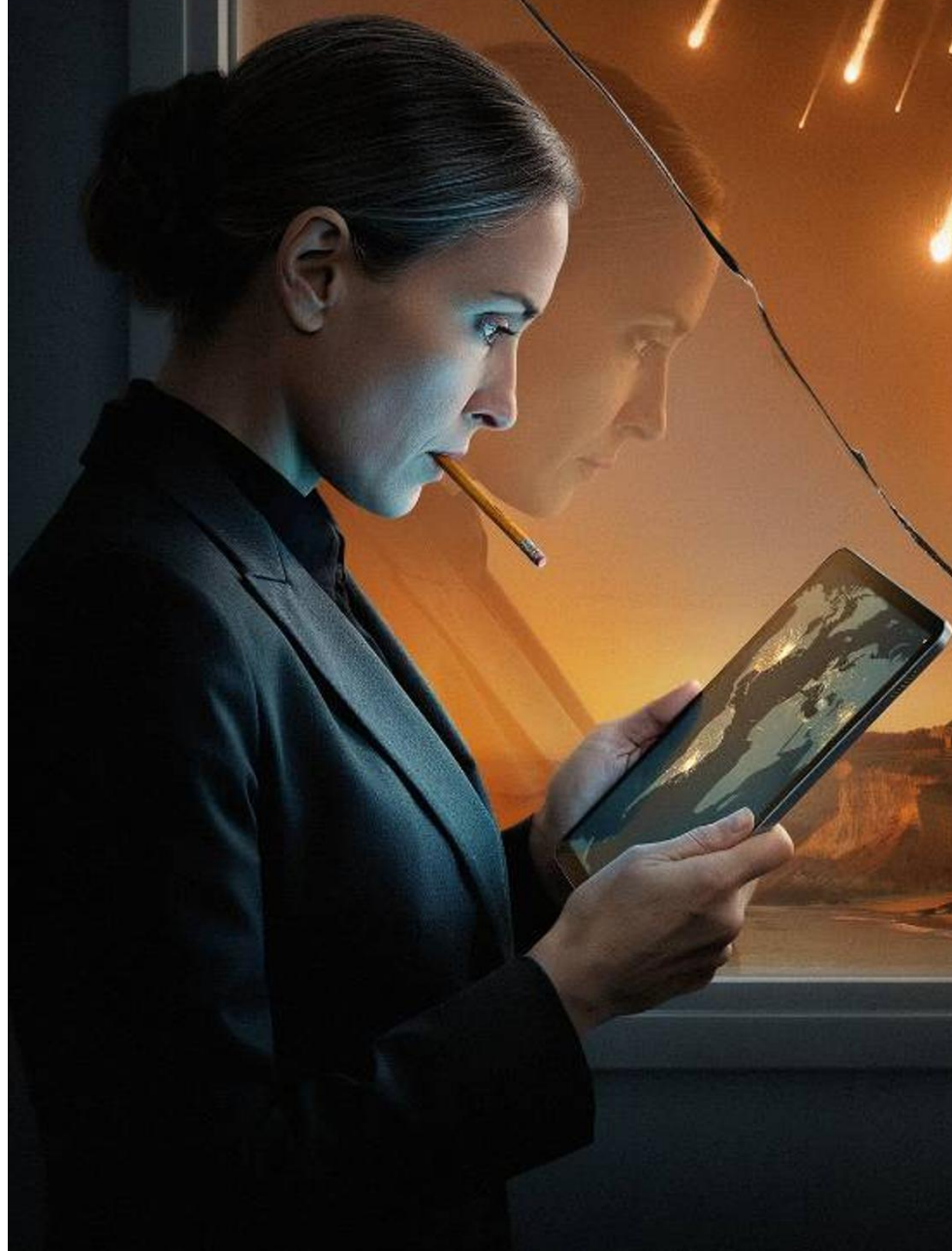


РИКОШЕТ

ЭДУАРД СЕРОУСОВ



Эдуард Сероусов

Рикошет

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Рикошет / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Доктор Ирина Соколова — лучший специалист по баллистике роя — показывает совету планетарной обороны: астероид «Молох» не камень, а слипшаяся груда щебня. Удар ядерным зарядом, на котором настаивает её бывший Дэвид Кан, не уничтожит тело — он расколется на рой плотных ядер, и осколки выпадут лотереей по всей планете. Совет слышит «алармизм». У миссии восемнадцать месяцев и слово «победа», заранее вписанное в графу. Ирину отстраняют от пускового контура и пускают в зал наблюдения. Заряд срабатывает. Мир кричит «спасены». Но её модель видит, как из вспышки в тишине выходят целые тяжёлые осколки. Повесть о честных вероятностях и о цене заранее вписанного слова.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Брызги на карте	5
Часть 2. Вспышка	9
Часть 3. Триумф киснет	13
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Эдуард Сероусов

Рикошет

Часть 1. Брызги на карте

Точка была одна — и через четыре секунды их стало триста.

Ирина не запускала симуляцию дважды; зал просто не дышал ровно столько, сколько распускалась модель. Единый янтарный кружок «Молоха» вспух, дрогнул и осыпался по чёрной карте мира веером искр — сначала над Тихим, потом дугой через Евразию, потом мелкой россыпью по обеим Америкам, тонкой, как пыль на засвеченной плёнке. Проектор гудел над головой одной нотой. Точки догорали и не гасли.

— Вот что значит «раздробить грудку щебня», — сказала она в полумрак зала. — Не уничтожить. Размножить.

Двенадцать человек за длинным столом смотрели на карту так, как смотрят на фокус, разгадку которого уже знают и она им не нравится. Свет от экрана делал их лица одинаково серыми. Где-то в третьем ряду кашлянули.

— Это худший сценарий, — сказал представитель программы. Не вопрос — поправка.

— Это распределение, — ответила Ирина. — У худшего сценария есть хвост. Я показываю медиану.

Телефон в кармане пиджака дёрнулся коротко, один раз, и затих, прижатый её ладонью к бедру. Она не вынула руку.

Полтора года назад её бы слушали иначе. Полтора года назад она была лицом отдела баллистики — той, кто провела пробный импактор в игольное ушко, чьим именем подписывали отчёты, на которые ссылались саммиты. Потом был разрыв — профессиональный и не только, — и уход, и год вне программы, и возвращение, на которое согласились скрепя сердце, потому что лучше неё рой не считал никто. Теперь её слушали как возвращенку, которая зачем-то портит хорошую новость.

— Доктор Соколова. — Голос пришёл из дальнего конца стола, мягкий, хорошо поставленный, и зал чуть повернулся к нему, как трава к свету. Дэвид сидел, откинувшись, сцепив пальцы под подбородком, и казался единственным в этой комнате, кому здесь удобно. — Никто не спорит, что ваша модель красива. Я спорю с тем, что вы предлагаете людям. Вы предлагаете им триста точек вместо одной. Тревогу вместо ответа.

— Я предлагаю им знать, во что они стреляют.

— Они стреляют в камень, который летит их убить. — Он улыбнулся, не ей, а столу. — Иногда ответ простой, и его боятся только эксперты.

По залу прошло движение, не смех, но его обещание. Ирина знала этот звук. Она слышала его в этой комнате одиннадцать лет, и десять из них он работал на неё.

— «Молох» — не камень, — сказала она. — Это грудка щебня. Плотность около одной целой двух. Внутри пустоты, трещины, слабые швы. Вы хотите ударить по нему зарядом, рассчитанным на толчок. Толчок такое тело не двигает. Толчок такое тело — раскалывает.

— Или испаряет.

— Или раскалывает, и вы получаете на орбите то, что больше нельзя ни отследить целиком, ни отклонить целиком, ни перехватить по частям. — Она кивнула на карту, на догорающую пыль над континентами. — Вот это.

Дэвид молчал ровно одну секунду — он всегда держал паузу там, где другой бы заторопился. На запонке у него поймался и соскользнул отблеск проектора.

— У нас восемнадцать месяцев, — сказал он наконец, негромко, будто делясь, а не возражая. — Не пять лет на серию аккуратных толчков. Восемнадцать. И камера. Весь мир будет смотреть, как мы либо что-то делаем, либо объясняем, почему мы ничего не делаем. — Он развёл руками. — Я знаю, какую из этих двух историй люди запомнят.

Ирина смотрела на него и видела не директора миссии и не бывшего — видела человека, который двадцать лет назад стоял у доски рядом с ней и чертил траектории мелом, потому что ему нравилось, как мел крошится. Который научил её, что красивое решение почти всегда верное. Который теперь спутал красивое с громким и не замечал разницы, потому что разница была в графе, которую не показывают в эфире.

— Запомнят не историю, — сказала она. — Запомнят небо.

Свет в зале поднялся до рабочего. Карта на экране побледнела, точки растворились в подсветке, и от катастрофы осталась только сетка координат — пустая, аккуратная, как ничего и не было.

— Спасибо, доктор Соколова, — сказал представитель программы, и это означало «достаточно».

Она собрала планшет, отключила проектор. Выходя, она наконец вынула телефон. Одно сообщение, от Лизы, и она открыла его уже в коридоре, у холодного окна во всю стену, за которым лежал вечерний город.

«мам по новостям у вас там всё под контролем. как всегда»

Без вопросительного знака. Лиза давно не ставила вопросительных знаков в сообщениях матери — вопрос подразумевает, что ждёшь ответа.

Ирина стояла с телефоном в руке, и за стеклом, низко над крышами, в чистом холодном небе уже проступали первые звёзды — те самые, по которым она когда-то учила дочь читать.

Квартира встречала её тем особым молчанием, которое заводится в комнатах, где один человек бывает только чтобы спать. Ирина не зажгла верхний свет. Прошла на кухню в синем сумраке, поставила чайник, не дождалась его и села к столу, на котором лежал ноутбук и, рядом, механический карандаш.

Карандаш был Алексея. Тяжёлый, латунный, с потёртой накаткой; грифель давно вышел весь, она ни разу его не заправляла. Алексей правил им чужие тексты — он был редактором, человеком, который верил, что любую кривую фразу можно выпрямить, если найти, где именно она надломлена. Ирина взяла карандаш и, не думая, прикусила колпачок — старая привычка, ввевшаяся в зубы за столько лет, что тело делало это раньше головы.

Телефон она положила экраном вверх. Сообщение Лизы лежало поверх ленты непрочитанного, и под ним она видела другие, уходящие вниз, всё короче и реже к этому дню. Поздравление с днём рождения, на которое Ирина ответила через два дня. Фотография, которую Лиза прислала год назад и не подписала, — просто берег, серое море, чайки, — и которую Ирина так и не поняла: что та хотела сказать. Может, ничего. Может, «смотри, где я живу теперь, без тебя».

Она помнила другой вечер. Лизе было двенадцать. Алексея похоронили в среду, в пятницу пришли результаты, которые уже ничего не меняли, а в воскресенье Ирине позвонили из программы: окно для запуска пробного импактора сужалось, расчёт траектории сходил только в её модели, нужно было сегодня. И она поехала. Лиза догнала её в прихожей, уже в куртке поверх пижамы, и не плакала — стояла, держась за ручку двери, и сказала: «Останься». Одно слово, как Дэвид сегодня — «делать» или «объяснять». Ирина выбрала делать. Она сказала дочери, что вернётся к ночи, и не соврала — вернулась. Просто к той ночи Лиза уже научилась не ждать.

Ирина закрыла глаза. Чайник за спиной набирал, набирал и щёлкнул, остыв на половине, — она забыла его включить до конца.

Они лежали тогда втроём, давно, на даче, на старом пледе, и Алексей показывал на небо черенком от того же карандаша. «Найди мне трон», — говорил он Лизе. И Лиза, шести лет, водила пальцем по звёздам, пока не находила пять огней, сложенных в кривую букву. Кассиопея. Царица, которую за гордыню привязали к небу вверх ногами и пустили вращаться вокруг полюса — чтобы помнила. «Видишь, как сидит? — говорил Алексей. — Криво. Это её наказали. Хвасталась, что красивее всех, вот её и посадили так, чтобы полгода висела головой вниз». Лиза смеялась. А Ирина лежала между ними и думала, что это глупая выдумка, привязывать к звёздам человеческие вины, — звёздам всё равно.

Она открыла глаза. Карандаш Алексея был у неё в зубах. Город за окном дышал ровным электрическим заревом, и звёзд из кухни видно не было — только их отсутствие.

Она должна была ответить Лизе. Набрала: «У нас не всё под контролем». Стёрла — слишком похоже на жалобу, а Лиза не выносила, когда мать жаловалась: это значило просить прощения, не называя вину. Набрала: «Как ты? Как Катя?». Стёрла и это: два вопроса подряд — допрос, не разговор.

Она положила телефон экраном вниз и придвинула ноутбук. Здесь всё было иначе. Здесь были кривые, которые можно выпрямить. Задача, которую она могла решить, лежала перед ней, тёплая и послушная, а та, другая, в приморском городе, за тысячу километров, — та решения не имела, и Ирина, человек, читающий сигналы по профессии, в сотый раз отвернулась от неё к экрану, где сигналы были честными.

Это она тоже знала за собой. И всё равно открыла модель.

Тему подрыва ей запретили моделировать в среду. Не приказом — формулировкой: «Сосредоточьтесь на сценарии отклонения, доктор Соколова, ядерным направлением занимается группа директора Кана». Вежливо отнятый файл.

Сейчас был час ночи, и запрет лежал где-то очень далеко.

Ирина собрала «Молох» из того, что знала, — из снимков, из спектров, из кривой блеска, по которой тело кувыркалось в пространстве, обнажая то плотный бок, то рыхлый. Она задала ему пористость, швы, распределение прочности по объёму — не одно число, а облако чисел, потому что груда щебня и есть облако, слипшееся под собственной слабой тяжестью. Потом она положила в его центр заряд группы Дэвида — мощность, высоту подрыва, геометрию, всё опубликованное, всё аккуратное — и нажала «пуск».

Модель считала долго. Полоса прогресса ползла по нижнему краю экрана, и в тёмной кухне был только её свет да синее свечение монитора на лице Ирины, отражённом в чёрной глади выключенного окна напротив. Лицо в стекле смотрело на неё и ждало вместе с ней.

Заряд сработал.

Она прогнала первый расчёт и не поверила — прогнала второй с другим зерном случайности, третий, десятый, меняя прочность, высоту, угол, всё, что могла, отыскивая хоть один набор, где тело испарялось бы начисто или хотя бы кололось на безопасную пыль, сгорающую в атмосфере. Она искала спасения честно, как искала бы его для чужого. Его не было.

Во всех прогонах груда щебня раскалывалась одинаково: рыхлая оболочка срывалась облаком мелкого крошева, а из сердцевины — там, где материал был плотнее, спёкшийся, менее трещиноватый, — выходило несколько крупных компетентных осколков. Целых. Тяжёлых. Каждый — десятки, иногда под сотню метров плотного камня, который не сгорит в воздухе, а дойдёт до земли. И мелочь, облако мелочи, разлеталась первой и шире, и в её шуме крупные ядра растворялись для слежения, как монеты в мутной воде.

Ирина откинулась на спинку стула. Карандаш Алексея лежал поперёк клавиатуры, она не помнила, как выпустила его из зубов.

На экране, в петле, бесшумно повторялся один и тот же распад: целое — толчок — россыпь — и из россыпи, медленно набирая собственные траектории, выходили ядра. Снова и снова. Красиво, как всё в её ремесле. Модель не знала, что показывает катастрофу; она показывала просто решение уравнений, и решение было однозначным.

Она могла это закрыть. Удалить файл, и не нарушенный приказ остался бы нарушенным только перед ней одной. Дэвид получит свою вспышку, свой эфир, своё слово «спасены». А потом небо ответит.

Ирина смотрела на своё лицо в чёрном стекле окна. Развидеть это было нельзя. И теперь ей придётся идти к человеку, который её сегодня переголосовал, и говорить ему то, чего он не захочет услышать, — не потому, что она надеется быть услышанной, а потому, что иначе она снова выберет уехать.

За окном гасли последние огни в доме напротив. Где-то очень высоко, невидимый из освещённого города, кувыркался в пустоте «Молох» — пока ещё целый, пока ещё одна точка, которую можно было проводить взглядом.

Часть 2. Вспышка

К утру у истории появилось название. «Молот человечества» — так это называли в эфире, и заряд на схеме рисовали в виде сжатого кулака, опускающегося на маленький серый булыжник. Ирина увидела заставку на экране в холле Центра. Спорить теперь предстояло не с инженерами.

История обзавелась всем, что положено истории. Обратный отсчёт до запуска вынесли в угол каждого канала, рядом с погодой, — будто это праздник, к которому готовятся, а не выстрел в темноту. Аналитики в студиях рисовали поверх «Молоха» тот же кулак и спорили не о физике, а о том, чьё это будет достижение — программы, страны, эпохи. Один сенатор уже назвал операцию «моментом, когда человечество перестало быть жертвой космоса». Где-то печатали футболки. Где-то слагали хэштег. Машина, которую Дэвид строил десять лет, работала на полном ходу, и в ней не было графы для слова «вероятно» — была графа только для слова «победа», и графу эту заполняли заранее.

Дэвида она нашла в медиапавильоне — стеклянной пристройке, выстроенной под программу в тот год, когда планетарная оборона стала предметом, о котором говорят на саммитах. Он стоял в круге студийного света, пока гримёр поправлял ему воротник, и репетировал — не текст, текст он знал, а паузы, повороты головы, тот момент, когда нужно посмотреть прямо в объектив, словно в глаза каждому из миллиарда.

— У меня новые данные по подрыву, — сказала Ирина, остановившись на границе света. — Я моделировала фрагментацию.

— Тебе запретили моделировать фрагментацию. — Он сказал это без упрёка, почти весело, не отрывая взгляда от тёмного глаза камеры в углу.

— Поэтому я делала это ночью.

Он повернулся к ней. В лобовом свете его лицо было гладким, отлаженным, и только у глаз держалась усталость, которую грим не брал.

— Покажи.

Она показала. Планшет в круге студийного света, петля распада — целое, толчок, россыпь, ядра. Дэвид смотрел молча, дольше своей обычной секунды, и гримёр за его спиной деликатно отступил в тень.

— Сколько ядер? — спросил он наконец.

— В медиане — от десяти до двадцати. Крупных. Доживающих до грунта. Плюс облако, которое ослепит слежение, так что эти десять-двадцать ты даже не увидишь летящими. Ты узнаешь о них, когда они упадут.

— И куда они упадут?

— Это и есть вопрос. Не в одно место. Они получают разные малые скорости и разойдутся по орбитам. Земля будет проворачиваться под этим потоком, и удары лягут полосой широт — по всей планете, волнами, несколько суток. — Она выдержала его взгляд. — Не цель. Лотерея. Самая большая лотерея в истории, и билеты розданы всем.

Дэвид отдал планшет обратно. Сел на высокий стул, на котором через час должен был сидеть герой. Свет лежал на нём красиво.

— А твой вариант, — сказал он. — «Не трогать». Спрогнозировать единственный удар и эвакуировать одну зону. Где упадёт целый «Молох», Ира? По твоей же модели?

— В океан, с высокой вероятностью. Или в малонаселённую полосу. Целое тело я веду с точностью до сотен километров за полтора года. Одно тело. Одну зону эвакуируем, остальное — переживём.

— С высокой вероятностью. — Он чуть улыбнулся. — А эллипс ошибок? Где его край? Она молчала. Он знал, где. Он сам учил её рисовать эти эллипсы.

— Край задевает берег, — сказал он за неё. — Населённый берег. Я смотрел твои же расчёты, ещё до того, как ты их закончила, — я всегда знал, как ты считаешь. Целый «Молох» с малой, но не нулевой вероятностью входит в населённую зону. Города. И ты предлагаешь не делать ничего и сесть ждать, чья это будет зона. — Он наклонился к ней. — Ты поставишь *город* на свои погрешности?

Вот оно — то место, ради которого он держал паузы. Он подвёл её к нему чисто, как подводят к доске.

— Поставлю, — сказала Ирина. — Скорее, чем поставлю всю планету на то, что груда щебня не треснет.

— Видишь. — Он развёл руками, и в жесте не было торжества — была почти нежность, как у учителя, поймавшего ученика на красивой ошибке. — Мы оба ставим на неопределённость. Ты — чтобы оправдать терпение. Я — чтобы оправдать удар. Разница только в том, что моя ставка даёт людям картинку, где они победили, а твоя — картинку, где они сидят в подвалах и ждут. — Он встал, поправил воротник сам, привычно, и бросил взгляд в тёмный глаз камеры, проверяя угол. — Угадай, какую страну легче вести в подвал.

— Они выйдут из подвала. Из-под полосы — не выйдут.

— Если ты права. — Он уже шёл к свету, к стулу, к своему часу. — А если права не до конца — а ты сама говоришь «вероятность», «медиана», «хвост», — то ты только что отняла у миллиарда людей единственную ночь, когда они легли спать, веря, что всё кончилось хорошо. — Он сел, выпрямился, и лицо его собралось в то спокойное, тёплое выражение, которое через час увидит весь мир. — Дай им эту ночь, Ира. Они её заслужили.

Гример вернулся в круг света. Где-то за стеклом включилась первая камера, и красный огонёк на ней зажёгся ровно в том углу, куда Дэвид смотрел всё это время.

Её пропуск перестал работать в четверг.

Не объяснили — пропуск просто пискнул иначе на турникете у моделирующего зала, и охранник, знавший её одиннадцать лет, отвёл глаза. «Доступ к группе отклонения сохранён, доктор Соколова. К пусковому контуру — пересмотрен». Так это формулировали: не «отстранили», а «пересмотрели доступ».

Представитель программы принял её в кабинете без окна. Он был не злой человек — он был человек, на которого давили сверху сильнее, чем он мог передать вниз, и от этого говорил готовыми фразами, как из методички.

— Доктор Соколова, ваш вклад в программу неоценим. — Готовая фраза. — Но в текущей фазе нам нужна... консолидация месседжа.

— Вам нужно, чтобы я молчала.

— Нам нужно, чтобы на финальном этапе из Центра звучал один голос. — Он сложил руки на столе. — Вы понимаете, что будет с людьми, если за неделю до операции один из ведущих учёных программы выйдет и скажет, что мы, возможно, делаем хуже? Паника. Срыв эвакуационных протоколов, которые мы и так едва успеваем развернуть. Вы спасёте свою правоту и угробите порядок.

— А если я права, порядок угробит небо, а я буду виновата, что молчала.

— Если вы правы. — Он посмотрел на неё устало. — Доктор Кан тоже опытен. И он считает иначе. Двое умных людей считают по-разному — это называется не «правота», а «неопределённость», и в условиях неопределённости государство выбирает действие, которое можно объяснить избирателю. Это не наука. Это просто как устроен мир.

Он не лгал. В этом было хуже всего — он не лгал ни в одном слове, и каждое его слово вело к тому, чтобы она ушла домой и смотрела катастрофу по телевизору, как все.

— Я хочу остаться на пуске, — сказала она. — Без доступа к контуру. Просто в зале. Я хочу видеть данные.

Он смотрел на неё долго.

— Зачем?

— Затем, что если я права, кто-то в этом здании должен будет первым понять это по приборам. И знать, что делать дальше. У меня уже есть модель роя. Ни у кого больше её нет.

Он отвёл взгляд — то ли на стену, то ли на того, кто давил на него сверху и кого здесь не было.

— В зал наблюдения, — сказал он наконец. — Гостевой бейдж. Без права голоса в эфире и без доступа к контуру. — Он подвинул ей по столу временный пропуск, белый, без её фотографии. — И, доктор Соколова. Я надеюсь всей душой, что через неделю вы будете самым неправым человеком на этой планете. Правда надеюсь.

— Я тоже, — сказала Ирина и взяла белый бейдж.

Выходя, она услышала за спиной щелчок — её старый пропуск, тот, что с фотографией, он убрал в ящик стола. Маленький сухой звук, с которым закрывают то, что больше не понадобится.

Мир смотрел запуск в прямом эфире, и Ирина смотрела вместе с миром — из угла зала наблюдения, с белым бейджем на шнурке, с планшетом на коленях, на котором тихо работала её модель роя, никому здесь, кроме неё, не нужная.

Зал был полон. Стояли в проходах. На главном экране шёл обратный отсчёт и шла картинка Дэвида — его вынесли в эфир как лицо операции, и сейчас он говорил что-то спокойное и верное в камеру, а под ним бежала строка на сорока языках. Звук в зале приглушили, и от его речи доходил только ритм, успокаивающий, как прибор.

«Молох» к этому часу был уже не точкой, а целью — крошечным серым миром в перекрестье, который перехватчик с зарядом догонял в чёрной пустоте. До контакта оставались минуты. Где-то в приморском городе, за тысячу километров, Лиза наверняка тоже смотрела этот экран — все смотрели этот экран. Ирина поймала себя на том, что думает об этом, и заставила себя смотреть на свой планшет, на честные числа, а не на чужую красивую историю.

— Десять, — сказал зал вслух, вместе, как одно горло. — Девять. Восемь.

Дэвид на главном экране замолчал и посмотрел прямо в объектив. Прямо в каждого. Ирина знала этот взгляд — он репетировал его в павильоне, проверяя угол, — и сейчас этот взгляд работал, она видела по залу, как тысяча людей подаётся к экрану, веря.

— Три. Два. Один.

Экран побелел.

Чистая белая вспышка залила все мониторы разом — перехватчик донёс заряд, и в той точке пространства, где полтора года летел убивать «Молох», вспыхнул маленький рукотворный свет. Зал выдохнул и закричал. Не словами сначала — звуком, рёвом облегчения, в котором потонул и приглушённый эфир, и гул проектора, и всё. Люди обнимались в проходах. Кто-то плакал. На главном экране уже сменилась картинка — Дэвид, и крупно, белыми буквами на сорока языках: **«МОЛОХ» УНИЧТОЖЕН.**

Ирина не смотрела на главный экран.

Она смотрела на свой планшет, где её модель роя получила первые телеметрические данные с наблюдательных платформ — настоящие, не симулированные, пришедшие из той точки, где только что был свет. И на планшете, среди ликующего рёва, в полной тишине под её ладонями, одна кривая поползла не туда.

Не вверх, к нулю, к чистому испарению. Вниз. В осколки.

Модель приняла данные, дожевала их за восемь секунд и нарисовала то, что Ирина уже видела ночью на своей кухне, — только теперь это было не предположение. Рыхлая оболочка сорвалась облаком. А из сердцевины, медленно набирая собственные траектории в свете чужого торжества, выходили целые, тяжёлые, доживающие до земли ядра.

Она считала их, пока зал кричал «спасены». Двенадцать. Четырнадцать. Семнадцать.

Вокруг неё миллиард людей ложился спать, веря, что всё кончилось хорошо. Дэвид дал им эту ночь.

Ирина сидела с планшетом на коленях, и красный огонёк камеры в углу зала, нацеленной на ликующую толпу, горел ровно и довольно, и снимал победу, которая была катастрофой.

Часть 3. Триумф киснет

Город салютовал три ночи подряд.

Ирина смотрела на это с балкона, не зажигая в квартире света, — чужая радость поднималась снизу разноцветными вспышками, и в них было что-то почти невыносимое своей чистотой. Внизу скандировали, смеялись, на соседнем балконе пили за победу из горлышка. На третью ночь она поймала себя на том, что считает залпы фейерверка, как считала ядра, — по привычке, по той части мозга, которая не умела не считать, — и ушла с балкона.

В планшете её модель роя жила своей тихой жизнью.

Первые сутки данные приходили чистые, обнадёживающие даже: облако вело себя как облако, рассеивалось, ширилось, теряло энергию. На лентах официального слежения это читалось как успех — «Молох» развалился в безопасную пыль, угроза снята, расходимся. В эфире уже говорили о «дне планетарной обороны» как о будущем празднике.

На вторые сутки в её модель начал просачиваться шум.

Не там, где его ждали. Облако мелочи, разлетаясь, забивало приёмники наблюдательных платформ помехами — тысячи мелких отражений, мерцающих, неотслеживаемых поодиночке, сливающихся в сплошную муть. И в этой мути официальные ленты переставали видеть. Радары рапортовали «чисто» не потому, что было чисто, а потому, что не различали в шуме крупного. Слепота, которую отчитывали как ясность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.